

«ПОЭЗИИ НИЧТО НЕ МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ...»

Дабы почувствовать мир Давида Самойлова «своим», понять строящую этот мир мысль поэта, услышать его неповторимый голос, весьма полезно вчитаться в два коротких и далеко не самых известных стихотворения. Оба были написаны в пору зрелости (в середине 1970-х), оба посвящены тому духовному феномену, который Блок назвал «назначением поэта».

Вот первое:

Надо себя сжечь
И превратиться в речь.

Сжечь себя дотла,
Чтоб только речь жгла.

Здесь, как было принято в модернистском XX веке, все резко индивидуально: отчетливо «неклассический» стих, агрессивная смысловая аллитерация («ж» и «ч» — звуки редкие), аскетичность слога, оттеняющая мощную энергию

двух повторяющихся «ключевых» слов, подчиненность всех элементов текста одной глубоко личной мысли-страсти. И в то же время... Превращение в речь (не свою, а всеобщую) напоминает незыблемо подтвержденное временем суждение Пушкина о стихах «Горя от ума» («...половина должна войти в поговорку»), жгущая речь ассоциируется с финалом пушкинского «Пророка», а в заглавье «огненного» четверостишья просится формула из пушкинского же «Поэта» — «священная жертва». Не случайно в этом очень личном высказывании (то ли предсмертный выкрик, то ли предсмертный шепот) личное местоимение вытеснено возвратным. «Я» может истинно реализоваться, лишь пребывая в традиции и переходя в общее будущее.

Другая (печальная, а точнее — трагическая) вариация этой темы представлена в стихотворении с ироничным (как бы литературоведческим) заголовком «Рецензия»:

Все есть в стихах — и вкус, и слово.
И чувства верная основа,

И стиль, и смысл, и ход, и троп,
И мысль изложена не в лоб.

Все есть в стихах — и то и это,
Но только нет судьбы поэта,

Судьбы, которой обречен,
За что поэтом наречен.

По достоверному свидетельству, в 1988 году на вопрос, что могло не нравиться Ахматовой в чьих-либо стихах, Самойлов ответил: «Только одно, пожалуй, — похожесть на стихи. Похожесть на стихи — это самое ужасное в поэзии». Имелось в виду то самое отсутствие судьбы, что не выкупается какими угодно стихотворческими ухищрениями. «Похожими на стихи» зачастую бывают не только наивные эпигонские тексты, но и опусы, кричащие о своей «невиданности», эффектно демонстрирующие виртуозность сочинителя. «Традиционность» стоит «новаторства», если за словами нет судьбы поэта.

«На пороге пятидесятилетия» Самойлов писал без расчета на публикацию: «... литература — это не стихотворство, даже не поэзия (это лишь ее части и формы выражения), даже не самовитое, пусть хоть точнейшее и тончайшее, раскрытие личности, а служение, жертва и по-

стоянное обновление соборного духа, обновление его в форме личного опыта мысли и чувствования.

Я понял, что усилия этого обновления *радостны*; что ничтожна застойная идея о сложившемся мире и о бесплодности единичного усилия к его обновлению. Литература и есть *единичное усилие обновления*. И коллективное усилие, то есть социальное действие, часто гораздо бесплодней единичного усилия литературы <...>

Я понял также — и не менее *радостна* эта мысль — что никогда не поздно подвергнуть свое духовное существо этому усилию, ибо бессознательно все мы, снабженные дарованием к писанию, к поэзии или к прозе, все мы всю жизнь дозреваем до литературы. Иные рано вызревают, другие поздно, а кто и совсем не дозревает; но это вызревание — внутренняя цель литературы. Счастливы дозревшие — и рано, и поздно.

Дарование — даровано. Но нельзя всю жизнь тешиться дарованным. Дарованное, но не обновленное, ветшает».

Не прошу прощения ни за обширность цитаты, ни за внесенную моими курсивами расстановку акцентов. *Радость единичного усилия обновления* общей духовной жизни — главное свойство поэзии Самойлова, неотделимой от его *судьбы*, то есть деятельного пребывания личности в истории — как доставшейся поэту эпохе, так и «большому времени».

Давид Кауфман (будущий поэт Давид Самойлов) родился в 1920 году. По слову самого поэта, «год рождения не выбирают», однако в судьбе всякого творческого (мыслящего) человека время его прихода в мир играет огромную роль. В нашем случае — двойную.

Во-первых, мальчик из жительствовавшей в Москве семьи ассимилированных евреев-интеллигентов принадлежал *первому постреволюционному поколению*. Духовный строй этой генерации (точнее — ее «городской» части) удивительно точно запечатлен и с горькой иронией отрефлектирован в ранней (писавшейся в шарашке) пропитанной автобиографизмом неоконченной повести Александра Солженицына «Люби революцию». (Солженицын старше Са-

мойлова на полтора года. Этот минимальный возрастной разрыв, как и различия в социальном и национальном происхождении писателей, здесь значения не имеет).

«Итак, жизнь была прекрасна. Прежде всего потому, что она была подвластна Нержкину (автобиографическому герою Солженицына. — А.Н.), и он мог делать из нее все, что хотел. Еще — потому, что необъятным и упивчиво интересным раскрывался мир в развитии и многокрасочности его истории и человеческой мысли. Очень удачно было еще то, что жил Нержкин в лучшей из стран — стране, уже прошедшей все кризисы истории, уже организованной на научных началах разума и общественной справедливости. Это разгружало его голову и совесть от необходимости защищать несчастных и угнетенных, ибо таковых не было. Очень удачная была страна для рождения в ней пытливого человека!

У этой страны последнее время появилось второе подставное название — “Россия”, — даже чем-то и приятное слово, оттого что раньше всегда было запрещено и проклято, а теперь

все чаще стало появляться на страницах газет. Слово это чем-то льстило, что-то напоминало, но не рождало своего законченного строя чувств и даже раздражало, когда им, кипарисно-ладанным, соломенно-березовым, пытались заставить молодое свежее слово “Революция”, дымившееся горячей кровью.

Все поколение их родилось для того, чтобы пронести Революцию с шестой части Земли на всю Землю».

Все сказанное Солженицыным о Нержине (то есть о себе предвоенных лет) безоговорочно применимо к Давиду Кауфману, к друзьям его отрочества и юности, к союзу молодых ярких поэтов, в который вместе с нашим героем входили погибшие на Великой войне Михаил Кульчицкий и Павел Коган, вернувшиеся в мир после победы Сергей Наровчатов, Борис Слуцкий и Михаил Львовский (последний от серьезной поэзии отошел). С этими мыслями, чувствами, надеждами они «в сорок первом шли в солдаты,/ И в гуманисты в сорок пятом» («Перебирая наши даты...»). Их судьбы, взгляды, творческие свершения и реализуемые в жизни пове-

денческие принципы позднее сильно разнились (как это происходит в любом поколении), но, по слову Самойлова, «... сияет вдалеке/ Свежий свет того июня». У Самойлова в этом июньском свете захваченность идеализированной революцией (мечтой о всемирном торжестве справедливости и о счастье каждого) слита с любовью к России, чувство личной ответственности — с осознанием себя неотменимой частью народа, а верность долгу — с истинной *радостью*.

Мало кто из русских писателей XX века сказал об «ужасах войны», о ее неизбежной *суцностной* бесчеловечности с той толстовской безоговорочностью, что явлена в ряде стихов Самойлова (особенно — в «Поэте и гражданине») и военных главах его мемуарной книги «Памятные записки». Одна из них вершится жестким выводом: «... наша военная литература стоит на точке зрения иронической солдатской формулы “война все спишет”. Нет, не спишет! Не списала». Самойлов здесь повторяет запись, которую он внес в дневник двадцатитрехлетним солдатом: «Война все спишет. Обманул — спишет, украл — спишет.

Врете! Как был ты сукин сын, так и останешься. Ничего она не спишет». И касается это не только личных солдатских прегрешений (в том числе куда более страшных, чем названные в дневнике), но и победоносной войны как грандиозного исторического события, якобы оправдывающего все, что случилось в России и с Россией в XX столетии — эта историческая концепция, последовательно проводившаяся, в частности, другом Самойлова Борисом Слуцким, твердо оспорена стихотворением «Если вычеркнуть войну...»:

Ведь из наших сорока
 Было лишь четыре года,
 Где нежданная свобода
 Нам, как смерть, была сладка...

Война не оправдание воевавших, в том числе самойловского поколения, «споловиненного» войной, но и забыть ее «нежданную свободу», вычеркнуть или проклясть те «четыре года», когда честно, не щадя себя, участвовал в действительно общем — всемирном — деле, Самойлов не может и не хочет. Потому на всех этапах его пути жестокая правда войны со-

прыгается с тогдашним ощущением радости и свободы. Так в «Семене Андрее» (1946); так в «Сороковых» (1961; едва ли не самое известное стихотворение Самойлова); так в «Пью водку под хрустящую капустку...» (1966), где страшное удуше современности вызывает горько-ироничную несбыточную мечту о единственно возможном «спасении» — «А хорошо бы снова на войну»; так в «Полночь под Иван-Купала...» (1973); так в «Звезде» и «Часовом» (1978), составляющих скрытый диптих (с сильными «современными» обертонами); так в значимо датированной днем победы «Вале-Валентине» и написанном в том же 1986 году «К передовой», где у прикорнувшего счастливым сном на пути в часть солдата («любимца всех богов») «есть долг, но нет долгов»...

Больше того. Взгляды Самойлова на революцию, социализм, «конкретику» советской истории претерпели огромные (и не просто давшие) изменения (до поры отражавшиеся преимущественно в потаенных стихах). Это, однако, не побудило поэта на отказ от того, что он назвал «нашей юношеской идеологией»:

«... дело не в том, что идеология была ложной и бессодержательной для идеологов, — она была реальной и содержательной для нас <...> Важны не те, для кого идеи были ложью, а те, для кого они были правдой». Что не страховало от подчиненности злу, приводящему и душевно чистых людей к преступлениям (здесь полезно вспомнить рассказ Солженицына «Случай на станции Кочетовка»), но могло способствовать их внутреннему освобождению и духовному росту. Причастность истории подразумевает ответственность за нее, различение добра и зла в себе позволяет увидеть «текущие события» не в одном лишь злободневном контексте, но в рамках большой истории. Потому в 1961-м Самойлов мог сказать: «Не по крови и по гною/ Я судил о нашей эпохе» (хотя о крови и гное знал немало), а в 1981-м (зная еще больше!) — «... долго будет слышен гром / И гул в котором мы живем».

Годом позже — в пору, позднее названную «застоем», когда многим казалось, что всякое будущее отменено в принципе, — он написал «Оду», равно полнящуюся любовью к отече-